

295. Л. Н. ТОЛСТОМУ

5 (17) мая 1857. Париж

Париж, 17 мая 1857 г.

Мне уж, видно, суждено получать Ваши письма долго спустя после того, как они написаны. На днях я получил Ваше письмо, писанное Вами в Неаполь.¹ Спасибо Вам за него — я его сейчас перечел, и на меня повеяло каким-то теплом; Вы не без участия думали обо мне, когда его писали. По принятой мною с Вами системе даю опять себе свободу говорить, что думается, не заботясь, что из того вы(й)дет, и не подшибая крыльев у чувства или мысли поминутной оглядкой. Не дивитесь, если не будет наружной связи (зачем тратить время — ведь не для печати), если от спешности дурно выражу, все-таки Вы поймете. Вы грустны, у Вас, кажется, хандра. Хандра и грусть у человека в Вашем положении, мне кажется, может быть только, когда у него нет цели в жизни. Ближайшая цель, труд, у Вас есть, но цель труда? Хорошо ли, искренно ли, сердечно ли (а не умозрительно только, не головою) убеждены Вы, что цель и смысл жизни — любовь?² (в широком смысле). Без нее нет ключа ни к собственному существованию, ни к сущ(ествованию) других, и ею только объясняется, что самоубийства не сделались ежедневным явлением. По мере того как живешь — умнеешь, светлеешь и охлаждаешься, мысль о бесцельности жизни начинает томить, тут делаешь посылку к другим — и они, вероятно (т. е. люди в настоящем смысле), чувствуют то же — жаль становится их — и вот является любовь. Человек брошен в жизнь загадкой для самого себя, каждый день его приближает к уничтожению — страшного и обидного в этом много! На этом одном можно с ума сойти. Но вот Вы замечаете, что другому (или другим) нужны Вы — и жизнь вдруг получает смысл, и человек уже не чувствует той сиротливости, обидной своей ненужности, и так круговая порука. Все это я выразил очень плохо и мелко — что-то не пишется, но авось Вы ухватите зерно. Человек создан быть опорой другому, потому что ему самому нужна опора. Рассматривайте себя как единицу — и Вы придете в отчаяние. Вот основание хандры в порядочном человеке — думайте, что и с другими происходит то же самое, и спешите им на помощь. Ах, как что-то выходит неясно, нет, я неспособен сегодня писать, мне жаль моей мысли, так бедно я ее поймал словом. Изорвать хочется — чувствую тоскливость, которую Вы, верно, знаете — хочется сказать, а не сказывается. Что Вы в этом случае делаете? Бросаете работу или нудите и пытаете себя? Бывало, я был к себе неумолим и просиживал ночи за пятью строками. Из того времени я вынес убеждение, что нет такой мысли, которую человек не мог бы себя заставить выразить ясно и убедительно для другого, и всегда досадую, когда встречаю фразу «нет слов выразить» и т. п. Вздор! Слово всегда есть, да ум наш ленив, да еще вот что: надо иметь веры в ум и проницательность другого по крайней мере столько же, сколько в собственные. Недостаток этой веры иногда бессознательно мешает писателю высказываться и заставляет откидывать вещи очень глубокие, чему лень, разумеется, потворствует.

Скажу несколько слов о себе и о Тургеневе. Я кормлю и лечу себя — вот главная моя теперь забота. Гоню дурные мысли и попеременно чувствую себя то хорошим человеком, то очень дрянным. В первом состоянии мне легко — я стою выше тех обид жизни, тех кровных уязвлений, которым подверглось мое самолюбие, охотно и искренно прощаю, кротко мирюсь с мыслью о невозможности личного счастья; во втором я мученик, и мученик, недостойный сожаления, начиная с моего собственного; от мелкой раздражительности до готовности воткнуть нож в свое или другое чье-нибудь горло — я все переживаю. Легко сказать — зачем же это? Хуже всего человеку, когда у него нет сил ни подняться, ни совершенно упасть! Я, кажется, в этом положении, но злость приходит все реже, реже — если в ней нет законности, она уляжется, но — но мне надо сделаться очень, очень хорошим человеком, чтоб многое в прошедшем меня не замучило или не привело к чему-нибудь дикому. Делать ничего не могу, нет спокойствия и душевной свободы.

Тургенев просветлел, что Вам будет приятно узнать. Болезнь его не мучит, другие дела, важные для него, идут, должно быть, хорошо. Я так его люблю, что, когда об нем заговорю, то всегда чувствую желание похвалить его как-нибудь, а бывало — — когда-нибудь расскажу Вам

историю моих внутренних отношений к нему.³ Теперь устал. На днях мы как-то заговорили о любви — он мне сказал: «Я так и теперь еще, через 15 лет, люблю эту женщину,⁴ что готов по ее приказанию плясать на крыше, нагишом, выкрашенный желтой краской!» Это было сказано так невзначай и искренно, что у меня любви к нему прибавилось. Прощайте, ясный сокол (не знаю, сказывал ли я Вам, что мысленно иначе Вас не называю). Напишите (я пробуду здесь до 15 июня). Не ставьте себе в обязанность писать мне много и затем не затягивайте письма, напишите два слова, а много напишете, как охота придет.

Некрасов.

Я написал в Петербург, чтоб Вам дали денег сколько могут,⁵ а Вы пошлите им адрес, куда послать. Мой адрес: Hotel du Louvre, № 256.

Тургенев скоро уедет в Лондон.⁶

Примечания

Подлинник: ГМТ, ф. Некрасова, №11.

Впервые: Круг, с. 208—211.

Толстой получил это письмо 9 (21) мая 1857 г. в Женеве (см.: Толстой, т. 47, с. 129).

¹ Это письмо неизвестно.

² Некрасов, по-видимому, скептически отнесся к нравственно-философским исканиям Толстого той поры, выраженным им в письмах к Некрасову и другим адресатам — Ег. П. Ковалевскому (письмо от 1 октября 1856 г.) и особенно В. В. Арсеньевой (в ноябре 1856 г.) (см.: Толстой, т. 60, с. 90, 95—132).

³ Некрасов высказал ее в письмах к Тургеневу начиная с 1857 г. и другим адресатам в своих произведениях, в частности в послании «Тургеневу» (1856). См. также: Переписка Некрасова, т. 1, с. 365—368; Скатов Н. Н. Некрасов. М., 1994, с. 241—244.

⁴ Речь идет о Полине Виардо.

⁵ См. письмо Некрасова И. А. Панаеву от 7 (19) мая 1857 г. (п. 296).

⁶ Тургенев уехал в Лондон 12 (24) мая 1857 г.